

*A Luigi, tutto per te*<sup>1</sup>

*Песни мои, владычицы лиры,  
Какого бога,  
Какого героя,  
Какого мужа будем мы воспевать?*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Луиджи, все для тебя (*ит.*)

<sup>2</sup> Перевод М. Л. Гаспарова.

# I

Все начинается *in medias res*.

С центрального эпизода.

Что является отправной точкой, если не фабула? Она может брать начало в середине чьей-то жизни, или в конце, или где-то между ними. Как часто мы бываем обмануты излишней аккуратностью. Несмотря на то что линейные конструкции создают формы, не существующие в природе, — идеальный квадрат или четырехугольник, четкие девяносто градусов, — мы должны помнить о сакральности круга, даже несовершенного, такого, как наша Земля, наше Солнце, наши истории — последние имеют свойство расширяться. Их мы передаем из поколения в поколение. В этом — все.

И на этом — все.

Так что я начну с того, как исчез Николас.

Минуту, когда я обнаружил, что он исчез, я помню так же точно, как будто это было вчера. Хотя, возможно, это не вполне корректное сравнение. Вчера может быть дальше, чем два года назад, чем семь или десять. Я не вспомню, что ел на ужин неделю назад, но это утро в

моей памяти остается осязаемым, как прикосновение внезапной жары или обжигающего холода. Это вино, которое я пил так долго, что его вкус окрасил мои рецепторы.

Стоял июль, но день только начинался, и воздух был еще мягким, и солнечные лучи, сверкавшие белизной по краям предметов, предупреждали, что будет жарко. Я приехал на вокзал Нью-Дели на рассвете, но даже в этот час он был битком забит спящими туда-сюда кули и спавшими на платформе семьями. Я поехал на такси домой, в свою комнату в северной части города, дороги были пустыми и тихими. Поехал через старый Дарьягандж, мимо широкого Радж Гата, мимо бледной ярости Красного Форта. Все казалось мне тронутым невообразимой красотой. После быстрого душа, смывшего грязь двухдневной поездки на поезде, я направился к бунгалу Раджпура. Я торопился, поэтому срезал себе путь через лес. Подойдя к воротам, увидел, что охранника нет, нет и плетеных стульев, и столика на лужайке. По краям сада горели клумбы с раннецветущими африканскими маргаритками и выносливыми летними цинниями. Я помню, как поднимался по крыльцу, пыльный и осыпанный листьями, ощущая в сердце прилив чего-то похожего на любовь. Я толкнул дверь, она легко открылась. В бунгало было неподвижно и тихо, все на своих местах. Обеденный стол, сервированный, словно для призраков, расставленные тарелки и столовые приборы, гостиная, декоративные подушки, тщательно пропылесосенные ковры, композиция из засушенных цветов. Я направился прямо в спальню, ожидая найти Николаса спящим, запутавшимся в простыне, в своих снах. Терпеливый скрип вращающегося вентилятора над ним. Его запах в воздухе, сладкий и соленый запах с привкусом пота.

Его там не было.

Кровать была заправлена с геометрической точностью. Его вещи — запасные очки, перьевая ручка, расческа — пропали с тумбочки. Я прошел по коридору в кабинет. За все месяцы, проведенные в бунгало, я никогда не видел его таким безликим, лишенным деталей — разбросанных по полу бумаг, шатавшихся стопок книг на столе. Я искал картину, всегда стоявшую рядом с книгами — женщина держит зеркало, — но ее тоже не было.

Лишь когда я добрался до веранды, во мне что-то раскололось, и он ворвался, страх, который ждал своего часа. Аквариум в углу, эта яркая и законченная вселенная, был пуст. Николас исчез летом 1999-го, когда мне было двадцать, и я второй год как учился в университете. Хотя, наверное, это тоже стоит переформулировать. Он не исчез.

Он ушел.

Кто скажет, что это одно и то же?

Сперва я, как безумный, искал записку, хоть какое-то письменное объяснение — приклеенное к зеркалу, к двери, к стене. Прижатое книгой или безделушкой, чтобы его не сдуло.

А потом сел на веранде и стал ждать. Чего именно, до сих пор не понимаю.

За моей стеной была полка с небольшой коллекцией ракушек и камней, справа от меня — просторный диван, покрытый богато вышитым покрывалом. Рядом — высокая пальма арека с острыми, как ножи, листьями, тихо увядающими. Дневной зной яростно пробивался сквозь решетчатое окно-джали, свет становился тусклым и слепил. Я не включил вентилятор, не спрятался в тени.

Позже, около полудня, устав сидеть в нависшей густой тишине, я ушел.

На этот раз я проделал долгий путь, вернувшись в свою комнату в студенческом общежитии в университете Дели, брел вдоль главной дороги, желая, чтобы шум и движение как-то вернули меня к жизни. Чтобы все это, как бы банально ни звучало, оказалось лишь сном.

Сперва мне показалось — это как в тот раз, когда я узнал о Ленни. Когда много месяцев назад услышал по телефону голос сестры, слабый и сдавленный: *мне так жаль... были сложности...*

Но это была не смерть.

Потому что смерть оставляет после себя что-то: скромное имущество, нажитые пожитки, книги и украшения, расческу, зонтик. Ленни был моим другом, у меня остались его письма, его записи на пленку, его кассеты и — в глубинах шкафа у меня дома — его сложенная, выцветшая кожаная куртка.

А Николас ушел так, будто его никогда не существовало. Ни одна жизнь не может просто оборваться и не оставить после себя отпечатков.

Но их не осталось. Сильный прилив обрушился на берег, смыл дочиства все следы.

День прошел, как остальные. В комнате я разбираю вещи — носки в ящик, книги на полку, шлепанцы под кровать, — не чувствуя ни злости, ни отчаяния, лишь слабое, затянувшееся ожидание. Что-то еще должно было случиться, на этом не может все закончиться. Это не конец. Я получу письмо. Николас вернется. Кто-то постучит мне в дверь и скажет, что мне был звонок.

Сообщение. Объяснение.

Этой ночью я лег спать, полный надежды.

И даже теперь порой просыпаюсь, чувствуя, как она обвилась вокруг моего сердца.

Нас формирует отсутствие. Места, которые мы не посетили, выбор, которого не совершили, люди, которых потеряли. Это как пространства между прутьями решетки, по которым мы переходим из года в год.

Николас и Ленни, хотя находятся в разных мирах, неразрывно связаны. Они — по разные стороны диптиха, наполненного именами живых и мертвых.

Может быть, поэтому люди и пишут.

Потому что мы всегда, постоянно, на грани потери, которую невозможно вообразить. И это осторожное расположение строчек — возможность сказать: «пусть это навсегда останется здесь».

*Все цело, и все застыло в неподвижности — сияющее, вечное.*

Возможность бросить вызов памяти, смутной, склизко-скользящей, наполняющей настолько же, насколько и опустошающей. Складывая эти слова, я вспоминаю вот что.

Впервые я увидел Николаса в комнате, напомнившей мне об аквариуме. Приглушенный свет, проектор, мигающий, как старая кинолента. Солнечный свет сочился сквозь занавески в зеленый полумрак. Воздух был холодным и приглушенным, где-то гудел кондиционер, задававший ритм дыханию и жизни. Шел разговор.

— Какие могли быть последствия? — спросил оратор. — Если бы Александр добился успеха? Если бы он без препятствий преодолел Индийский субконтинент в четвертом веке до нашей эры? Безусловно, невероятные социальные и политические изменения. Но я скажу, что наиболее впечатляющее влияние это оказало бы на другую сферу.

Я был поражен его формой. Его формами. Фигура, высеченная из света, росла, когда он приближался, и уменьшалась, когда уходил. Он улыбнулся.

— На искусство.

Я оказался здесь по случайному совпадению. Это был один из тех дрейфующих дней в кампусе, когда полдень отражал небо — бескрайнее и пустое. Я оставил своего соседа по комнате, Калсанга, стоять у окна и курить косяк. Как и деревья за окном, Калсанг состоял из веток, прутьев и переплетений. Длинноногий, длиннорукий тибетец с медленным, томным, как ленивое воскресенье, голосом. За глаза его звали Скалой — в честь Скалы Гибралтара; этот титул он получил за то, что неоднократно пытался сдать экзамен по химии и каждый раз проваливался. Он был странным образом рассинхронизирован с миром и был значительно старше меня.

— Ты точно не хочешь? — он протянул мне изящно скрученный косяк. Я точно не хотел. Меня ждала лекция. О Сэмюэле Беккете и символизме. Это, возразил Калсанг, еще больший повод принять его предложение.

Уже не помню, по какой причине — может быть, лекцию отменили? — я обнаружил, что бесцельно брожу по зданию колледжа. По коридорам из красного кирпича, разделенным квадратами света и теней, по аудиториям, мрачным, как церкви, среди опустевших деревянных стульев и столов. Слева от меня, за аркой, разворачивалась длинная лужайка, заросшая травой, пожухшей за зиму, окруженная сидящими поникшими статуями. Порой к краю каменной дорожки сновали белки, скворцы опускались на нее ради недолгой прогулки, но сейчас она была пуста и ясно сияла в солнечном свете. Я прислонился к колонне. Если бы я наклонился и поднял глаза, я увидел бы кубическую башню, которая рвалась в небо,

башню с крестом и звездой наверху. По обеим сторонам здания раскинулись длинные крылья, как у низко летящей птицы. За живой изгородью кампуса колледжа, за дорогой, звеневшей колокольчиками рикш, расстился парк Ридж-Форест, его пологие холмы простирались до самого Раджастана. Линия жизни Дели, его легкие, полные дождя, полные жизни, его последняя тайна.

*В лесу, сказал мне однажды Ленни, время как бы в ловушке.*

Воздух в конце лета нависал жаркой тяжелой пеленой, припудренной густой оранжевой пылью. Солнце Дели, как бы это ни противоречило древней истории города, было юным, грубым и дерзким — оно набрасывалось на камни, на короткую жесткую траву. Если я о чем-то и грустил, вспоминая родной дом среди холмов — а честно говоря, грустить там было не о чем, — так это о погоде. О бесконечных днях, полных тумана и блестящего дождя. Здесь были долгие месяцы изнуряющей жары и короткие, сухие зимы.

Оглядываясь назад, я думаю, что лучше бы принял предложение Калсанга. У него всегда была в запасе отличная трава, а не та, которая сводит людей с ума. Я, конечно, слышал истории о различных выходах в общежитиях, связанных с наркотиками. Этот фольклор передавался из уст в уста, год за годом, собираясь в архивы и обрастая новыми впечатляющими подробностями. Например, о парне, который три дня без перерыва повторял свое имя — Карма-Карма-Карма, — потому что ему казалось, что если он замолчит, то перестанет существовать. Или о том, как убойная смесь травы, дешевого клея и еще более дешевого алкоголя убедила одного экономиста в том, что он может летать. Он бросился с балкона и приземлился на клумбе, уделавшись



грязью, но только чудом не искалечившись. Другой съел три дюжины омлетов в соседней придорожной дхабе. (Владелец, Моханджи, говорил, что этот негодяй все еще должен ему денег.) Совсем недавно особенно мощная смесь из Манали заставила историка, живущего этажом выше, поверить, что он может видеть призраков. Они болтаются у наших кроватей, сказал он, и наблюдают за нами, пока мы спим.

Теперь я вынужден был провести остаток дня бесцельно и, что еще хуже, в абсолютно здоровом уме.

Нагретый солнцем каменный стол чуть жег мою руку. Чтобы передохнуть от жары, я обычно шел в библиотеку, прохладное помещение на уровне подвала, где находил себе угол, читал или, чаще, дремал. В тот день библиотека была «закрыта на техническое обслуживание», хотя внутри, похоже, не проводилось никаких работ. Я ушел, слегка разочарованный, но дверь дальше по коридору, ведущая в кабинет с амбициозным названием «Конференц-зал», была слегка приоткрыта и пропускала поток поразительно холодного воздуха. Это бывало лишь в исключительных случаях, и, очевидно, в зале проходило что-то по-настоящему важное, раз оно требовало такой роскоши.

Я проскользнул внутрь и нашел себе место с краю последнего ряда. Передо мной сидело удивительно много студентов, в первых рядах — несколько профессоров. Голос оратора был низким, отчетливым, как птичье пение, с резким британским акцентом.

— На протяжении веков Будда был представлен иконическими символами... отпечатки его ног, дерево Бодхи, лошадь без всадника, колесо дхармы, пустой трон... как изобразить бесконечное, безграничное? Раннее буддийское искусство сформировалось благодаря от-

сутствию. Верующие оказались лицом к лицу с «ничем». Некоторые ученые утверждают, что антропоморфные изображения Будды появились лишь после переселения греков в Южную Азию. — Оратор указал на карту, спроецированную на стену, прямоугольное окно светилось белым неземным светом. — По сути, искусство, созданное в регионе Гандхара в эллинистический период, черпало свое содержание из индийского мистицизма, в то время как форма была формой греческого реализма. Конечно, это могло произойти исключительно по экономическим причинам. Гандхарой правили кушанские цари, и это был богатый регион благодаря своему положению на Шелковом пути... Так монахи и миссионеры путешествовали с предметами роскоши, а с ними путешествовал и Будда в человеческом обличье, возможно, потому, что изображение помогает в обучении, преодолевая языковые барьеры. Но разве дело только в этом? Что за желание очеловечить наших богов? Сделать их по своему образу и подобию...

В мерцающей темноте я внимательно наблюдал за ним. У него было такое лицо, что мне хотелось дотронуться и коснуться. Широкое, но не грубое, с четко очерченными скулами, оттененными щетиной. Прямой нос, высоко расположенный между широко расставленными глазами. Я подался вперед, пытаюсь понять их цвет — но за очками и на таком расстоянии это было невозможно. Его блестящие и густые темные волосы волнами обрамляли лоб, виски, уши.

Он ни на миг не оставался в неподвижности.

Там поморщиться, тут коснуться, шаг вперед, несколько назад. В ком-то другом это могло выдавать беспокойство, нерастраченную энергию, но его движения были — лучшего слова я не подберу — безмолвными.